

Как перестать беспокоиться и полюбить реферируемые журналы. Дискуссия о наукометрии

Вячеслав Данилов, Ирина Дуденкова,
Артем Космарский, Дмитрий Кралечкин,
Петр Сафронов

Вячеслав Данилов. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Москва, Россия, ivangog@mail.ru.

Ирина Дуденкова. Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), Москва, Россия, irinafil@bk.ru.

Артем Космарский. Институт востоковедения, Российская академия наук (РАН), Москва, Россия, artyom.kosmarski@gmail.com.

Дмитрий Кралечкин. Независимый исследователь, Москва, Россия, kralechkin@gmail.com.

Петр Сафронов. Независимый исследователь, Москва, Россия, peter.safronov@gmail.com.

Дискуссия Московского философского кружка посвящена вопросам наукометрии в отечественных гуманитарных науках. В ней рассматриваются стратегии внеакадемической власти по поиску наиболее эффективных инструментов финансирования научных исследований и ответная реакция академических властей, ориентированная на сохранение статус-кво. Несмотря на декларируемый статус наукометрии как социологического инструмента адекватной оценки научной эффективности, представители отечественной гуманитарной академии полагают, что де-факто формальное следование наукометрическим показателям не только не соответствует идее отделения науки качественной от некачественной, но, наоборот, плодит исследования невысокого научного значения, которые выполняются исключительно для роста наукометрического потенциала. В дискуссии обсуждаются вопросы: несет ли наукометрия смерть научной традиции, в том числе национальной? Является ли практика наукометрии инструментом для уничтожения национального научного языка и стилей мышления? Как возможно сегодня, в эпоху научной глобализации, говорить о науке в терминах традиции, школы и т. п. и не скрывает ли такая практика гораздо более серьезные проблемы, — с которыми сталкивается гуманитарное знание, — нежели наукометрия?

Ключевые слова: *наукометрия; результативность научных исследований; цитируемость; реферируемые журналы; библиографические базы данных; индексы цитирования.*

«Мы сегодня оцениваем научную деятельность по наукометрии, как бы ни было печально... Люди, которые заняты важнейшими государственными делами, у которых нет индекса цитирования, но у которых плавают, летают, ездят... они не попадают», — жаловался президенту на заседании Совета по науке и образованию глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. Схожий порядок аргументации — конфликт между государственным интересом и правилами подсчета научной эффективности Министерством образования — использовали и гуманитарии: философы (решение Ученого совета ИФ РАН), историки (письмо академика РАН Валерия Тишкова), литературоведы и филологи (заявление Ученого совета ИМЛИ им. А. М. Горького РАН). Протест против наукометрии превратился в политическую платформу, которая объединила физиков, лириков и даже часть администраторов от науки.

Наукометрия задумывалась как социологический инструмент, который позволит гармонично совместить *raison d'être* научного производства и национальных научных школ или даже соперничающих геополитических блоков. Но оказывается, что в России наукометрия противна и тому, и другому: чужда государственному интересу и не защищает национальные научные школы. Дело не в глобализации академии и использовании английского языка в качестве новой латыни: китайская наука более чем успешно справляется и с глобализацией, и с английским. Дело в чем-то другом. Недостатка в версиях нет: идеологический конфликт отечественной мысли с западной, несовпадение национальных интересов, то есть, грубо говоря, заговор западной академии против российских ученых, наконец, пожалуй, наиболее осмысленное — опасения потерять навыки академического мышления, интеллектуальной работы на русском языке.

Оставив за скобками вопросы бюджетной политики, идеологии, национальной безопасности и заговоров, участники дискуссии обсудили, несет ли наукометрия смерть научной традиции, в том числе национальной, идет ли речь о смерти языка мышления или о смерти источников, создавших этот язык. Или, напротив, именно переупаковка национального наследия для глобального потребления окажется наиболее успешной стратегией в рамках матрицы *publish or perish*? Наконец, имеет ли вообще смысл говорить о наблюдаемых процессах в таких «молярных» категориях, как «традиция», «школа» и т. д., и не подменяют ли они собой более серьезных проблем?

ПЕТР САФРОНОВ: Отмечу два момента. Количественная оценка результатов научной деятельности предполагает две вещи: первая — нет никакой науки, которая бы не доходила до определенным образом измеримого результата; вторая — использование точки зрения «внешнего» наблюдателя, который нуждается в наукометрических показаниях для навигации в незнакомом поле. Увлечение результативностью может принимать форму одержимости успехом и на уровне институциональной политики академических организаций, и на уровне финансово-административных решений спонсорских инстанций, и на уровне дисциплинарных альянсов. Как быть в ситуации, если исследование не добивается быстрого успеха? Как определить горизонты быстроты? Могут ли полноправно сосуществовать в современной науке «разные скорости»? В ситуации, когда научные исследования поддерживает в основном один донор — государство, скорость академических процессов определяется движением ресурсных потоков в бюрократической машине. Характер накопления государством ресурсов становится тогда матрицей, по которой организуются контролируемые им процессы. Если государство, скажем, собирает дань, извлекает спрятанные излишки, то и академический процесс устраивается по экстрактивной модели сбора дани. Если государство выступает как диспетчер переговорных процессов, то и академическая наука приобретает соответствующие черты. Там, где науку финансирует прежде всего государство, наукометрия проверяет способность академической системы отвечать запросам определенного типа бюрократии.

Бытует мнение, что наукометрия менее распространена в США. Это, разумеется, не означает, что академическая система в Америке свободна от мимикрии под государственную бюрократию. Просто наличие частных спонсоров создает больший простор для шизофренического расщепления внутри академических организаций, которые могут одновременно следовать нескольким, в том числе противоречащим друг другу, траекториям. Это хорошо показывает, например, конфликт вокруг использования стандартизированных тестов при приеме в Калифорнийском университете, который закончился отказом от них¹, хотя внутри универси-

1. См.: Nieto del Rio M. G. University of California Will End Use of SAT and ACT in Admissions// The New York Times. 15.05.2021. URL: <https://www.nytimes.com/2021/05/15/us/SAT-scores-uc-university-of-california.html>.

тета были диаметрально противоположные позиции по этому поводу. Этот пример демонстрирует, что внешняя по отношению к академии точка зрения не гомогенна, она может расщепляться в зависимости от имеющейся в обществе поляризации, которая неизбежно отражается и на институтах науки и образования. Применение единых наукометрических инструментов здесь оказывается связано с тем, насколько научные исследования затронуты теми же конфликтами, которые окружают, скажем, процесс набора студентов в университеты. Грубо говоря, может ли наукометрия способствовать закреплению различных форм дискриминации?

АРТЕМ КОСМАРСКИЙ: Мне кажется, что все немножко сложнее. Наукометрия соединяет два диспозитива. Это не только бюрократический диспозитив государства, которое хочет знать, что происходит, и нуждается в прозрачных метриках, механизмах измерения того, что делается, — в особенности теми, кто получает бюджетное финансирование. Это своего рода прозрачность, исчисляемость для государства. Но есть и научный диспозитив, связанный с самоизучением науки. Парадокс в том, что в России наукометрия остается практически исключительно частью государственного диспозитива.

Если быть точным, то наукометрия была изначально придумана как внутренний научный инструмент, и все это знают. Мы изучаем науку через чтение текстов или через изучение биографий, как это делал Роберт Мертон, через анализ профессиональных траекторий, как это делал Бурдье, через изучение того, как меняются научные картины мира, парадигмы, некие базовые для науки вещи: «А теперь давайте посмотрим через существующие “большие данные” на условный 1960 год, что нам даст научное цитирование?» То есть наукометрия изначально появляется как внутренний инструмент познания самой науки. А в 1980-е, в контексте распространения неолиберального управления, *New Public Management*, введения KPI, критериев результативности и прочего она стала именно внешним инструментом оценки научной эффективности. В этом и ее сила, и ее слабость. *New Public Management* тех сфер, которые раньше были внекорпоративными, — науки, образования, здравоохранения — затаскивает их в бизнес-модель KPI. В бизнесе KPI простой — это доход, определенным образом измеренный уровень прибыли: фирма зарабатывает или не зарабатывает деньги, выходит в ноль, несет убытки или получает прибыль, вот четкие критерии. В науке подобный подход породил своего

рода квазивалюту, денег нет, но есть какие-то квазиденьги, будь это индекс Хирша, будь это число статей, будь это цитатные метрики. Своего рода попытка изобрести внутреннюю валюту и переложить в бизнесовый бенчмаркинг — растет доходность или не растет? Есть масса исследований, которые показывают, как подобный подход разъедает науку, поскольку (и это много раз обсуждалось), согласно закону Кэмпбелла, как только вводятся качественные индикаторы, люди начинают искать способы их накручивания и показатели перестают что бы то ни было показывать. Такова бизнес (неолиберальная, корпоративная) модель наукометрии. Она совпадает с государственным диспозитивом в требовании прозрачных и наукообразных, единых и счетных, квантифицируемых, методик. Но отчасти она с ним не совпадает.

Но это не все. На фоне проблемы результативности научных исследований, которые должны быть измерены, встает вопрос доверия. В науке сейчас, — а я говорю в основном про естественные науки, — идет большая и жесткая дискуссия о том, как бороться с *positive results bias*, когда все стараются не мытьем, так катаньем накрутить себе статистически значимые положительные результаты. Это делают сами ученые, это делают начальники, которые ими руководят, это делают авторы статей, это делают редакторы. Статья имеет высокие шансы быть опубликованной и процитированной, если содержит положительный результат. Например, если есть подтвержденная гипотеза, что если ты, грубо говоря, левша — значит, скорее всего, проголосуешь за демократов. И подобных исследований множество. Многие осознают, что *positive results bias* — вещь опасная, поскольку ведет к подгонке. Допустим, мы провели *no-results*-исследование: мы что-то попробовали, но гипотеза не подтвердилась. Эти результаты не менее достойны того, чтобы быть опубликованными. Дело не в требовании результативности, а в понимании того, что требовать этого не очень хорошо. Для науки в равной степени важны ситуации, когда гипотеза не подтвердилась или результаты не соответствуют ожидаемым. Сегодня это пытаются внедрить на всех уровнях: и журналы меняют редакционную политику, и базы, и от рецензентов тоже специально требуют, если есть хороший результат, сильная корреляция, не надо этому аплодировать, нужны разные результаты и т.д. Есть некая тонкая грань между неочевидными результатами деятельности ученого и кризисом результативности как стремления показать четкий, яркий, продаваемый, сенсационный результат. Но здесь

возникает уже другая проблема: будут ли цитировать эти работы или не будут? Потому что цитирование — это тоже метрика, которая сама по себе *biased*: цитируются самые провокативные работы, самые сенсационные, вызывающие споры, то есть самые заметные. У хороших средних работ меньше шансов стать цитируемыми.

Цитируемость как метрика — это отдельная интересная проблема, поскольку именно цитируемость с ее психологическими и экзистенциальными свойствами выступает субстратом для главной метрики по оценке качества, и это очень любопытный сюжет. Идея, что нам не нужны только положительные результаты, а нужны только яркие, уже утвердилась. А вот тезис Петра, что в работе ученого вообще не нужны результаты... я не думаю, что где-то в мире он имеет шансы на одобрение со стороны тех, кто выдает финансирование. Здесь слышится идея своего рода безусловного базового дохода, чего хотят многие отечественные исследователи: я ученый, делаю что хочу, а вы мне платите некий базовый оклад. Возможно, что это неплохая идея, но почему только ученым? Допустим, есть привилегированные группы людей, типа ученых или художников, как в Норвегии, которым платит государственный фонд. А как насчет всех остальных? Возможно, что это разумно — платить некие деньги ученым в виде кредита доверия, что они что-то делают. Но как давать деньги за то, что ты что-то делаешь без ощутимых результатов? Для гуманитариев это еще может выглядеть нормально, но как насчет физиков?

Мировая наука совсем недавно, во второй половине XX века, пережила золотой век, когда финансированиекратно, в десятки раз возрастало, когда тысячи, десятки тысяч ученых получали места в университетах, которых не было еще поколение назад. Денег было все больше, а требований к практическим результатам в рамках почти неограниченного времени — все меньше. Золотой век кончился вместе с 1970-ми годами, в 1980–1990-е все стало рассыпаться. И поскольку этот золотой век был недавно и все его помнят, он воспроизводится как норма жизни науки, к которой часто апеллируют. Это особенно заметно в России, где брежневская наука, в отличие от сталинской, по большому счету представляла собой «удовлетворение собственного любопытства за государственный счет» (Лев Арцимович), помноженное на знаменитое «вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работаем». Все это действовало, и возможность ученых заниматься тем, чем они хотят, были огромны.

Постсоветское государство 1990-х вместе с требованиями сняло с себя обязательства по оплате труда ученых. Переход на другую модель работы науки, когда тебе платят и с тебя что-то требуют, оказался очень болезненным.

ИРИНА ДУДЕНКОВА: Насколько я поняла Петра, он говорит не о том, что никакие критерии результативности не могут применяться, а скорее, о том, что цитирование не может быть критерием результативности, что цитирование — плохой инструмент измерения качества научной работы. То есть речь идет о соотношении понятий результата и успеха. Может ли результатом стать неудача? Можно ли в принципе придумать удовлетворительные критерии результативности, кроме цитирования? В любом случае, мне кажется, нужно обсуждать, что мы понимаем под результатами научного труда.

АРТЕМ КОСМАРСКИЙ: А нужно ли вообще от ученых требовать результата? Это вызывает те возражения, которые я уже озвучил: почему мы требуем результата от полицейского, от работника турфирмы, который должен продать столько-то путевок, от СММ-менеджера, который должен написать столько-то постов в соцсети. Почему ученый похож на древнегреческого философа, от которого, в отличие от рабов-трудящихся, не требуют ничего? Почему от всех мы требуем результаты, а от ученых не требуем? Выход может быть разве что в радикально левой повестке: от каждого по способностям, каждому по потребностям.

ПЕТР САФРОНОВ: Поясню свою позицию, воспользовавшись различием телических и ателических видов деятельности, то есть имеющих некую результативность и не имеющих таковой. Вот, например, работа сиделки: никакого позитивного результата у нее нет, в том смысле, что сиделка не может принципиально улучшить состояние смертельно больного, хотя, разумеется, может смягчить его страдания. Это ателическая деятельность. Или, если взять другой пример, — игра с маленьким ребенком: она может выглядеть как бесконечное и утомительное повторение определенных действий, не имеющих конкретного результата. А что, если науку тоже мыслить как ателическую деятельность? На мой взгляд, ученые напрасно пытаются удержать рамку цели. Признание, что у науки есть цель (допустим, разыскание истины), не гарантирует особого достоинства этому занятию, поскольку слишком многое в научной практике

противоречит этой претензии. Достоинство ученых могло бы быть утверждено признанием ателического, бесцельного характера науки. Это не означает, что ученые не нужны, просто их «нужность» приобрела, так сказать, инфраструктурный характер, то есть больше не предполагает некой субъектной позиции.

Ученые сегодня стоят в ряду тех профессий, где тела работают как приводы цифровой экономики, обеспечивая сопряжение виртуального мира с действительностью. В этом отношении виртуальность наукометрии сегодня фактически предшествует реальности науки и применение неких КРІ к ученым выглядит уже довольно анахроничным, поскольку виртуальная научная инфраструктура полагает свои цели каким-то иным, виральным, внеаучным способом. С другой стороны, именно в некоторой архаичности локальных практик заложен, возможно, некий потенциал движения в других, менее репрессивных по отношению к автономии науки направлениях.

АРТЕМ КОСМАРСКИЙ: В каком-то смысле цели у науки и так нет никакой. У нас есть требование повысить количество публикаций в *Web of Science* и *Scopus*, и это единственная цель, которую государство отчетливо формулирует. Исследователи говорят, что если бы государство сказало: «Давайте, летим на Марс» или «Давайте открывать новое лекарство от рака» — это было бы совсем другое дело. Но это архаика, причем не сталинская, а уже безыдеологическая.

Вы предлагаете очень радикальную идею, и многим гуманитариям она, наверное, близка. Но мы упираемся в то, что наука последние лет восемьдесят продавала другую идею — идею результата: есть некие ученые в белых халатах, вы дадите им много денег, и они сделают вам ядерную бомбу, новые лекарства и т. д. Существует также модель власти/знания, когда ученых кормят за экспертизу. Допустим, мы заключаем договор с Албанией, и пусть специалист по Албании напишет нам докладную аналитическую записку, исходя из которой мы будем как-то определять нашу политику. Но это еще более устаревшая модель, она слабо работает и не приносит денег, тогда как модель «деньги в обмен на результат» — это фундамент корпоративной науки. Или результат, или надежда на результаты. Просто горделиво сказать, что мы работаем ателически, — это серьезным образом подорвать доверие финансирующих организаций, *funding agencies*, и перейти к благородному нищему суще-

ствованию в рамках неких квазипатронатных систем, меценатства. *Patreon* — это и есть *Uber* для творческих профессий.

ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН: Интересно, что *Patreon* — удобная платформа и для воровства интеллектуального контента, которая подает себя в том числе как модель идеальной востребованности, абсолютно прозрачного цитирования. Но спонсор получает доступ и может слить весь контент куда угодно. С этим уже столкнулись производители графики, различных цифровых продуктов. В качестве спонсора я получаю, с одной стороны, право доступа к продукту, с другой — физическую возможность использовать этот контент как угодно, размыкая ситуацию. Да, люди получают какие-то деньги за продукт, который производят, но это не вполне торговля. Точка, где что-то производится, оказывается подвешенной. В каком-то смысле это и есть вариант безусловного дохода. Принцип таков: вы будете продавать некое содержание, получать в результате свою микроскопическую нишу, а большой рынок продолжит функционировать где-то еще. Возникает странная ситуация: это не глобальный рынок, нет никакого общего правила, которым он регулируется, скорее наоборот. То есть происходит структурная отсечка, благодаря которой мы уже обеспечили почти рыночную ситуацию, где все замечательно, где мы нашли друг друга, друг другу платим и т. д., но вдруг выясняется, что на этой, казалось бы, вполне прозрачной ситуации очень легко паразитировать. Сами спонсоры оказываются одновременно паразитами.

В этом плане проблема имитации идеальных рыночных отношений состоит в том, что тот, кто эти ситуации создает, в то же время является паразитом. Это наиболее простой пример. В этом плане я не вполне понимаю следующее: современная абстрактная идеальная наука, когда она попадает в фокус регулятора, — это брежневская наука или сталинская? По моим ощущениям, регулятор имеет дело с брежневской наукой по той простой причине, что она существует вообще не в режиме результата. Можно говорить по крайней мере о двух режимах результата, или результативности: первый — когда к ученым можно условно прийти и сказать: «Ребята, сделайте то-то и то-то», — и они, вероятно, даже что-то сделают. Иной результат — это нечто кодируемое в пространстве, которое остается формальным и автономным, не будучи пространством заказанного результата. В данном случае у науки автономность никто не отбира-

ет, тогда как предыдущему режиму результативности можно вообще отказать в статусе науки. Когда делали атомную бомбу, это была *еще* не наука, но попытка реализовать некий проект: собрали ученых, которые уже были учеными, им не нужно было это доказывать, и поставили им задачу. Но грубо говоря, это не режим нормальной науки, это экстраординарный режим.

Меня эта ситуация интересует больше со стороны, то есть интересна сама эта конструкция экономии субъекта, как она вообще выстраивается. Экономика науки в этом плане довольно забавна, поскольку в каком-то смысле она приглашает всех буквально в «пустыню реального». Понятно, что классическая позиция ученого держалась на определенных иллюзиях, которые многое позволяли предполагать. Например, ученый — это тот, кто думает, что автономен в своей идее, что служит истине. Вопрос даже не в том, получает он деньги или нет, этот вопрос решался часто эмпирически, и многие авторы, которых мы читаем сейчас, существовали без приличных или постоянных доходов. Но если прежняя эпоха была более беспорядочной, например по доходам, то сейчас она стала более пуританской. Беспорядочные финансовые связи стали какими-то очень неприличными, непрезентабельными. Так, Сьюзен Зонтаг существовала на деньги крупных спонсоров, по сути дела двух за всю жизнь, и то, что мы сейчас считаем корпусом Зонтаг, создано при поддержке ее близких друзей и одновременно спонсоров. Подобные «непрозрачные», по нашим меркам, условия могли поддерживать научные иллюзии, выступать средством своего рода возгонки.

Сейчас же возникает ситуация, когда некие условия, которые якобы составляют реальность науки, некий внешний след цитируемости и прочее, проецируются внутрь самого операционного поля науки, осваиваются в качестве руководящих принципов. Ученые должны принимать их в расчет. И мы не знаем, что составляет механику этой истины, как именно она осуществляется (раньше для этого нужна была философия). Ученый просыпается в пустыне реального и замечает, что реальное малопривлекательно, то есть что истина существует не в каком-то интериорном пространстве, где он может ориентироваться, в мышлении и опыте, экспериментах и их содержании. Получается, что истина свершается в случайном и прикладном формате. Ведь что такое ссылка? У ссылки есть очень интересный момент — она акцидентальна по определению, то есть тот факт, что на вас со-

слались, говорит о некоторой содержательной истине только вторично. Да, возможно, вас заметили, возможно, тот факт, что вас заметили, выступает некоторым симптомом, что в некоторой истории истины вы делаете определенный шаг. Грубо говоря, вдруг выясняется, что сама эта акцидентальная машина реферирования остается единственной доступной ученому, и он уже не может оставаться вне этой пустыни реального.

Технология современной науки построена на том, чтобы постоянно воспроизводить подобное короткое замыкание: с одной стороны, ученые все время должны эмулировать старую позицию некоторого интериорного, автономного субъекта науки, который пишет всю жизнь одну работу или занимается одной глобальной проблемой. С другой стороны, выясняется, что каждый шаг ученого уже разбит на микрокомпоненты, которые могут быть спроецированы на машину акцидентального цитирования. И если ученый в этой машинерии каким-то образом себя узнает, каким-то образом может с ней играть и ею манипулировать, тогда, наверное, он чего-то добивается. Проблема здесь еще и в том, что чисто нормативная моральная позиция остается в этой игре неопределенной. Возможна позиция некоего благородного незнания, позиция научной *grandeur*, ученого, который «просто» делает свое дело и лишь будущее, сама среда науки, замечает его и все время преподносит ему дар ссылок, которые на него сыплются, так что он ими постепенно обрastaет, сам этого как бы не зная. Это своего рода импорт классики в нашу ситуацию. Либо наоборот, это в предельном варианте ловкий манипулятор, агент, который работает не на уровне содержаний, ему на них наплевать, он смотрит просто на то, что работает, а что нет, в чисто формальном смысле, строит цитационные пирамиды, организует кафедры и т. п. Итак, какова моральная позиция: оставаться на уровне этой старой иллюзии величия или все-таки переходить к чему-то другому? И не вполне понятно, как сами ученые это решают.

Более того, скорее всего, не существует сегодня никакой устойчивой фигуры под названием «ученый». Тот, кто был ученым, должен все время подтверждать, что он и правда ученый, каждый раз продлевать свое существование. Ученый стал странной вещью в модусе картезианского мира, вещи, которая существует от случая до случая. Ссылки становятся для него божественной силой, — тем, что каждый раз творит ученого заново. Я, конечно, преувеличиваю, но я вас уверяю, что до этого уже недалеко. Иначе как вы узнаете,

существует ли ученый, на которого никто не ссылается? Я не знаю, может быть и нет. Возможно, что он существует в качестве кого-то другого.

АРТЕМ КОСМАРСКИЙ: Я бы возразил, сказав, что ядро науки — это коммуникация, а не цитирование.

ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН: Коммуникация сама по себе двойственна: действительно наблюдается момент логики прокси, в которой предполагается трансляция позитивного содержания, а есть коммуникация в качестве некоторого идеала. Коммуникация как идеал — да, это хорошо, но в принципе для реальной практики это не очень важно. Гораздо важнее то, что есть, условно, некое ядро науки, которое предполагалось, как-то мыслилось, но в качестве такового остается буквально недоступным. С этим связан тот статистический кризис, о котором вы говорили, — кризис перепроизводства неподтверждаемой корреляции. Неясно, что является ведущим или хотя бы ориентировочным методом работы. Отсюда само значение корреляций. Отсутствие их или присутствие уже не важно, коррелировать может все что угодно, когда мы, например, говорим, что между правой рукой президента и глобальным потеплением нет никакой связи. Такая стратегия двусмысленна в том плане, что она все время пытается не выбирать между содержательными аргументами, которые предполагают горизонт понимания, где вообще может быть корреляция. Ставка на поиск корреляции возможна только там, где мы не знаем, что эти корреляции уже есть. Иначе у нас есть некоторый фокус содержательной теории, который уже отграничивает значимые корреляции от незначимых. Если так, то тогда они носят чисто экзemplарный смысл, то есть работают как иллюстрации.

АРТЕМ КОСМАРСКИЙ: Вы же с этого сами начали: есть такая вещь, как разговоры, все, что сейчас в науке происходит вокруг разговоров. Рецензирование — это разговор, цитирование — это разговор. И возникла некая новая норма: теперь это действительно не ученый, который сидит у себя, копается в своем микроскопе, а потом ба-бах — и совершает великое открытие. Нет, сегодня ученый пребывает в разных модальностях разговора с *peers* именно как с равными.

ИРИНА ДУДЕНКОВА: Нет, эта модель хорошо работает, если у нее есть противовес, состоящий в знаменитом принципе уединенно-

сти. Если есть противовес, то все в порядке, если нет противовеса, то тогда это тот самый трайбализм, который вы описываете в своем исследовании.

Вячеслав Данилов: Увы, но это именно трайбализм. У этого разговора есть масса искажений. Есть искажение трайбалистское, когда ты разговариваешь только с теми, кто носит значок твоего племени, — грубо говоря, остальных ты вообще за людей не считаешь, с этими говоришь, а с теми не говоришь. Есть искажения, когда ты вообще не говоришь, а имитируешь разговор за счет фиктивного цитирования и т. д. Я апеллирую к разговору как некоему фундаментальному фактору. Современная наука выросла как разговор. И есть масса способов этот разговор отменить, или извратить, или исказить, или подменить чем-то, но это не отменяет необходимости разговора. Потому что если нет разговора, то наука исчезает. Есть прекрасный тезис, возникший в условиях еврейской диаспоры: пока с нами разговаривают, нас не убивают.

Дмитрий Кралечкин: Это раньше были разговоры в курилке, что наука характеризуется тем, что есть такая двусмысленная политика разговора, разговор должен быть вынесен за пределы того места, которое дислоцируется в качестве науки. Разговор — это передача чего-то, коммуникация. Но вопрос не в двух идеалах какого-то существования ученого, а в том, что сам этот идеал одиночества, автономии — это идеал мухлежа. Эти идеалы комплементарны, они скрывают доступность науки... Что такое ученый? Ученый — это тот, кто в какой-то мере монополизирует если не науку вообще, то по крайней мере свою позицию в науке. Ученый есть там, где другого ученого быть по большому счету не должно.

Вячеслав Данилов: Я вообще против ученых. И я не за то, чтобы ученые ничего не делали, давайте оставим их, что называется, в своем домене, и пускай там производят науку, как пчелы мед. Но с чего вообще возникает такая привилегия на мед, медовая монополия?

Дмитрий Кралечкин: Привилегии нет. Это часть биогеоценоза. Если обвалить его часть, все остальное рассыплется. Все зависит от потребителя — пасечник это или медведь. Возможно, что медведь потребляет самих пчел, а не мед. А мед бывает и искусственный.

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВ: Позиция жалующихся ученых состоит в том, что внешние финансирующие инстанции и прочее начальство заставляют делать искусственный мед. То есть у ученых есть некое представление о правильной науке и привилегия на правильную науку, тогда как менеджмент требует от них превращать внутренние научные отношения в оцениваемые извне, то есть производить не мед, а его субпродукты. У начальства же на это все взгляд очень простой, ему наплевать, искусственный это мед или нет. Задача простая: войти в мировую науку точно так же, как начальство хочет войти в мировые элиты, стать их частью, а не изгоями. Национальные элиты — в политике, бизнесе, спорте и науке — должны быть международными элитами. Иначе говоря, руководство просто не понимает аргументов ученых, когда они вдруг, перехватывая пропагандистский язык властей, предъявляют его тем, кто сам же его и производит для внутреннего потребления. Прежде всего, речь идет о письме сотрудников Института философии и затем в целом позиции актива РАН в отношении новых инструментов наукометрии. Разговоры о суверенитете страны — не более чем пропагандистская уловка со стороны тех, у кого с активами за рубежом и без того все хорошо. Иначе говоря, суверенитет науки, как и любой иной области, — это не способ восстановления занавесов, железных или бумажных, а способ выйти в мир, участвовать в международной конкуренции. Под собственным, разумеется, флагом, а не под флагами «международных организаций» или олимпийским флагом.

Национальная наука для инстанций, принимающих решения, чем-то похожа на спорт высших достижений. В этом виде спорта под названием наука — что там у нас вообще? Сколько медалей? Где нобелевки? И когда ученые говорят «Дайте денег», то им в ответ летит: «А может не денег, а допинг, если в результате нет разницы? А вдруг вы вообще без допинга ничего не в состоянии выигрывать?» Что имеется в виду: не ковровое финансирование, а система «допинга», то есть дополнительного стимулирования научных институций и ученых к тому, чтобы повышать престиж отечественной науки за рубежом и через Запад уже здесь. Именно об этом допинге идет речь, когда звучат требования о переводе отечественной научной коммуникации на английский язык, штурме международных университетских рейтингов, заваливании высокорейтинговых журналов статьями и организации своих научных журналов на иностранном языке.

Сами же письма ученых РАН в правительство анализировать бессмысленно. Они выглядят и для начальства наверху, и для стороннего наблюдателя как симптом. Что с ним делать? Симптомом чего он является — может быть, симптомом выздоровления? Тот есть академики РАН и философы из ИФ РАН наконец-то очнулись от догматического сна? Ученые снова напоминают Паганеля, который, попав не на свой корабль, вместо того чтобы спокойно плыть, истерит и назойливо привлекает внимание, заставляя капитана рулить не туда, куда надо, а куда почему-то хочется Паганелю.

ИРИНА ДУДЕНКОВА: Мне кажется, что среди нас в этом разговоре не хватает еще одного важного звена — как раз руководства академического мира, менеджеров от науки и т. д. Собственно, не хватает такого жесткого утилитаристского взгляда: не умеешь зарабатывать своими исследованиями — не имеешь права заниматься наукой. И тогда эта кампания против наукометрии вполне себе положительный симптом, она носит характер аффирмативных действий в защиту редких и экзотических научных областей.

АРТЕМ КОСМАРСКИЙ: Извините, но контракт был нарушен! В этом и причина появления данных писем. Это контракт последних двадцати лет: мы делаем вид, что вам платим, вы делаете вид, что работаете. Мы платим вам деньги, достаточные для элементарного существования, а вы ведете ту жизнь, которая вам самим кажется достойной. Но при этом мы не выдвигаем жестких требований. Возможно, что никакого контракта, даже молчаливого, не было, но нынешние изменения в ученой среде точно воспринимаются как его нарушение.

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВ: Да, это был контракт с дьяволом. Ученые просто не поняли его буквы, решив, что дух в этом самом паритете отсутствия финансирования и бездеятельности. Более того, дьявол подавал сигналы — постепенно вводил новые требования, увеличивал нагрузку, но ученые не слышали. Они полагали, что материальное стимулирование, рост финансирования, нацпроекты и т. п. — это что-то вроде возвращения долгов за факт выживания в девяностые. Но это все оказалось совершенно не так. И, как водится, час пробил и дьявол пришел забирать свое.

Москва, 15 февраля 2020 года

How to Stop Worrying and Start Loving Refereed Journals: Bibliometric Debates

Vyacheslav Danilov. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ivangog@mail.ru.

Irina Dudenkova. Moscow School for the Social and Economic Sciences (MSES), Moscow, Russia, irinafil@bk.ru.

Artyom Kosmarski. Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, artyom.kosmarski@gmail.com.

Dmitri Kralechkin. Independent researcher, Moscow, Russia, kralechkin@gmail.com.

Peter Safronov. Independent researcher, Moscow, Russia, peter.safronov@gmail.com.

This discussion of the *Moscow Philosophical Circle* is devoted to issues of bibliometrics in the Russian humanities. It examines the strategies of extra-academic authorities to find the most effective tools for funding scientific research and the response of academic authorities focused on maintaining the status quo. Despite the declared status of bibliometrics as a sociological tool for adequate evaluation of scientific effectiveness, representatives of the Russian humanities academy believe that de facto formal adherence to bibliometric indicators not only does not correspond to the idea of separating high-quality from low-quality science but, on the contrary, produces research of low scientific value, carried out merely for bibliometrics itself. The debate questions whether bibliometrics will lead to the death of the scientific traditions, including the national one. Is the practice of bibliometrics a tool for destroying research in local languages and styles of thinking? How is it possible today, in the era of scientific globalization, to speak of science in terms of tradition, individual schools, and the like? Does this practice conceal much more serious problems facing the humanities than that of bibliometrics itself?

Keywords: *bibliometrics; efficiency of scientific research; citations; refereed journals; bibliographic databases; citation indexes.*